

I ВВЕДЕНИЕ: НАШ ШИЗОИДНЫЙ МИР

Кассандра: Аппалон — вот мудрец, который дал мне это ремесло...

Хор: Уже тогда владела ты божественным искусством?

Кассандра: Да; уже тогда предсказывала я города судьбу.

Эсхил, «Агамемнон»

Поразительная вещь — любовь и воля, которые в былые времена всегда помогали нам справиться с жизненными невзгодами, в наши дни сами стали *проблемой*. Да, когда человек достигает переходного возраста, у него действительно всегда возникают проблемы с любовью и волей; а наш век — это эпоха радикальных перемен, «переходный возраст» нашей культуры. Рушатся старые мифы и символы, в которых мы привыкли искать опору; весь мир объят беспокойством; мы цепляемся друг за друга и пытаемся убедить себя, что испытываемое нами чувство — это любовь; мы не принимаем волевых решений, потому что боимся, выбрав нечто одно, потерять другое, и чувствуем себя слишком неуверенно, чтобы рисковать. В результате разрушается фундамент придающих всему единство эмоций и процессов — наиболее яркими образцами которых являются любовь и воля. Индивид вынужден обратить свой взор внутрь самого себя; он одержим нового рода проблемой личности, а именно: «Даже если я знаю, кто я такой, я ничего не значу. Я не могу воздействовать на других людей.» Следующим шагом является апатия. И вслед за ней начинается насилие. Потому что ни одно человеческое существо не может вынести постоянного оцепенения от чувства собственного бессилия.

Любви как средству решения житейских проблем придается такое большое значение, что самоуважение человека зависит от того, обрел он ее или нет. Люди, которым кажется, что они нашли ее, готовы лошнуть от самодовольства, уверенные в том, что располагают неопровержимым доказательством своего спасения, подобно тому как кальвинисты считали богатство зримым свидетельством своей принадлежности к избранным. Те же, кому не удалось обрести любовь, не просто считают себя в большей или меньшей степени обездоленными, но утрачивают самоуважение, а это влечет за собой более глубокие и опасные последствия. Они чувствуют себя представителями новой касты неприкасаемых и признаются психотерапевту, что страдают бессонницей, причем не обязательно потому, что чувствуют себя особенно одинокими или несчастными, а потому, что их терзает гнетущее убеждение, будто они не сумели разгадать великую тайну

жизни. И между тем, на фоне постоянного роста количества разводов, настойчивого опощления любви в литературе и изобразительных искусствах и несомненного факта, что для множества людей секс стал настолько же бессмысленным, насколько доступным, эта самая «любовь» стала казаться невероятной редкостью, если не полной иллюзией. Некоторые представители «новых левых» пришли к заключению, что любовь уничтожена самой природой нашего буржуазного общества, а предлагаемые ими реформы имеют своей целью построение «мира, в котором будет больше возможностей для любви»¹.

В такой противоречивой ситуации, сексуальная форма любви — предельный общий знаменатель последней редукции до низшей ступени на лестнице, ведущей к спасению души — по вполне понятным причинам стала нашей манией; ибо секс, корни которого уходят в неподвластную переменам биологию человека, всегда представляется надежным средством обретения хотя бы подобия любви. Но и секс стал для западного человека скорее испытанием и бременем, чем путем к спасению. Сходящие с издательского конвейера книги о технике любви и секса, хоть и держатся в течение нескольких недель в списке бестселлеров, сводятся к обычному пустозвонству: похоже на то, что большинство людей смутно понимает, что отчаянное стремление усовершенствовать технику спасения, прямо пропорционально нашему непониманию того, где нам искать это спасение. По иронии природы, человеческим существам всегда свойственно ускорять шаг, если они сбились с пути; и утрачивая понимание смысла любви, мы начинаем с большим усердием заниматься исследованиями, статистикой и техникой секса. Какими бы положительными и отрицательными качествами ни отличались исследования Кинси и Мастерса-Джонсона, они симптоматичны для цивилизации, которая все больше утрачивает понимание смысла любви одного человека к другому. Любовь стала считаться мотивацией, силой, которая толкает нас вверх по лестнице жизни. Но происходящие в наши дни большие перемены указывают на то, что сама эта мотивационная сила поставлена под сомнение. Любовь сама превратилась в проблему.

Поистине, любовь стала настолько внутренне противоречивым явлением, что некоторые исследователи семейной жизни пришли к заключению, что «любовь» — это просто название способа подчинения более сильными членами семьи более слабым. Рональд Лэнг попросту утверждает, что любовь является прикрытием для насилия.

То же самое можно сказать и о воле. Во времена королевы Виктории существовало убеждение, что в жизни есть только одна настоящая проблема — принятие рационального решения относительно того, что следует делать; *воля* же — это «сила», которая заставляет нас выполнить решение. Сейчас речь идет уже не о том, чтобы решить, что следует делать, а о том, чтобы *решить, как принять решение. Стало быть, под сомнение поставлена сама основа воли.*

Является ли воля иллюзией? Многие психологи и психотерапевты, начиная с Фрейда, утверждают, что так оно и есть. Термины «сила воли» и «свободная воля», в обязательном порядке присутствовавшие в словарном запасе наших отцов, почти полностью выброшены из современных ученых споров; или же эти слова употребляются просто в насмешку. Люди отправляются к терапевтам в поисках замены утраченной ими воли: они либо хотят узнать, как заставить «бессознательное» управлять их жизнью, либо хотят научиться новейшей технике психологической обработки, чтобы вновь обрести возможность вести себя подобающим образом, либо хотят услышать о новых лекарствах, которые помогут им обрести интерес к жизни. Или же, наконец, они хотят научиться новейшим методам «высвобождения аффекта», не понимая того, что аффект не существует сам по себе, а является побочным продуктом отношения человека к жизненной ситуации. И вот в чем вопрос: чего же человек хочет от этой ситуации? Лесли Фарбер в своей книге о воле утверждает, что главной патологией современности является недееспособность воли и что наше время следовало бы назвать «веком слабоволия»².

Наша эпоха радикальных перемен, загоняет индивида назад, в его сознание. Когда потрясение почти полностью разрушило сами основы любви и воли, мы неизбежно уходим вглубь нашего сознания и ищем в нем, равно как и в «невыразимом коллективном сознании» нашего общества, источники любви и воли. В данном случае «источник» для меня аналогичен бьющему из-под земли ключу, с которого начинается большая река. Если нам удастся найти такие источники любви и воли, мы, вероятно, сможем открыть новые формы, в которых нуждаются эти жизненно важные сферы опыта, чтобы выжить в новую эпоху, в которую вступает человечество. В этом смысле, наши поиски, как и любая такого рода затея, являются нравственными исканиями, потому что мы ищем основу нравственности новой эпохи. Всякий мыслящий человек чувствует, что занимает позицию Стивена Дедала: «Я иду вперед..., чтобы выковать в кузнице своей души еще не существующую совесть моей расы».

Используя в названии этой главы термин «шизоидный» я имел в виду: *неспособность чувствовать; боязнь близости; отчуждение*. Под этим термином я понимаю не признак психопатологии, а, скорее, общее состояние нашей цивилизации и склонности творящих ее людей. Энтони Сторр, говоря об индивидуальной психопатологии, утверждает, что шизоидная личность отличается холодностью, надменностью, высокомерием и отстраненностью. Эти качества могут привести к взрыву агрессии. Все это, говорит Сторр, является сложной маской, за которой скрывается подавляемое стремление к любви. Отстраненность шизоида — это защита от враждебности, и источник ее кроется в искажении любви и недоверии ко всему, что выходит за рамки детства, которое заставляет его вечно бояться действительного осуществления любви, «потому что любовь угрожает самому его существованию»³.

В этом я согласен со Сторром, но я утверждаю, что шизоидное состояние — это общая тенденция переходного периода, и в том «невнимании и отсутствии помощи», с которыми сталкиваются дети и о которых говорит Сторр, виноваты не только родители, но и почти все аспекты нашей цивилизации. Родители сами являются беспомощными и невежественными детьми своей цивилизации. Шизоидный человек — это естественный продукт человека технологического. Это один единый образ жизни, и он все более активно осваивается, и это может привести ко взрыву насилия. В «нормальном» состоянии шизоидность подавлять не требуется. А вот перерастет ли шизоидный характер данного конкретного индивида в шизофреническое состояние, покажет только будущее. Но вероятность этого будет гораздо меньшей (что наблюдалось у многих пациентов), если индивид способен откровенно признать определенную шизоидность своего нынешнего состояния. Шизоидная личность, продолжает Энтони Сторр, «убеждена в своей непривлекательности и воспринимает любую критику, как нападки и оскорбление»⁴.

Мне очень нравится определение Сторра, но в одном месте он допустил серьезный прокол. Говоря о шизоидном характере, он в качестве примеров приводит Фрейда, Декарта, Шопенгауэра, Бетховена. «В случае Декарта и Шопенгауэра сам их отказ от любви дал толчок к возникновению их философий». А вот, что он пишет о Бетховене:

«В качестве компенсации за свое разочарование и возмущение реальными человеческими существами Бетховен придумал идеальный мир любви и дружбы... В его музыке, пожалуй, громче, чем у любого другого композитора, слышится изрядная агрессия в смысле властности, энергии и силы. Есть все основания предполагать, что, не сублимируя Бетховен свою враждебность в музыке, он легко мог бы стать жертвой параноидального психоза»⁵.

Дилемма Сторра заключается в том, что если у этих людей действительно наблюдалась психопатология, то в случае их «исцеления» мы бы лишились их творений. Стало быть, как я полагаю, следует признать, что шизоидное состояние может быть конструктивным способом разрешения глубинных проблем. Но если другие цивилизации подталкивают шизоидную личность к творчеству, то наша цивилизация подталкивает человека к шизоидному — отстраненному и механическому образу жизни.

Сосредоточиваясь на проблемах любви и воли, я не забываю и о положительных особенностях нашего времени и о сегодняшних возможностях самореализации индивида. Вполне очевидно, что когда все вокруг словно с цепи сорвалось, и каждый в известной степени предоставлен самому себе, все больше людей начинают искать себя и обращаются к самопознанию. Правда также и то, что причитания по поводу разгула индивидуализма раздаются громче всего как раз

тогда, когда до самой личности никому нет дела. Но я как раз пишу о проблемах; это они настоятельно требуют нашего внимания.

У проблем есть одна любопытная особенность, которая еще не оценена соответствующим образом: *они предсказывают будущее*. Актуальная проблема представляет собой экзистенциальный кризис, который может получить, но пока еще не получил разрешения; и вне зависимости от того, насколько серьезно мы воспринимаем слово «разрешение» — если бы не появились какие-то новые возможности, то не было бы и кризиса, а было бы только отчаяние. Наши психологические загадки выражают наши бессознательные желания. Проблемы возникают тогда, когда мы обнаруживаем, что наш мир неадекватен нам или мы неадекватны ему; иногда это бывает мучительно, как пишет Йитс:

Мы... чувствуем
Раненья боль,
Удар копыя...

Проблема как пророчество

Я пишу эту книгу на основании моего двадцатипятилетнего опыта активной работы на поприще психотерапии, в ходе которой мне приходилось иметь дело с людьми, пытавшимися понять и разрешить раздиравшие их противоречия. Причиной этих противоречий, в особенности в течение последнего десятилетия, как правило, было что-то неладное в каком-то аспекте любви или воли. В определенном смысле, каждый терапевт все время занимается, или должен заниматься, *поиском* в прямом смысле этого слова — поиском причины.

Здесь я слышу возражения своих коллег по экспериментальной психологии, которые говорят, что полученные нами в ходе терапии данные невозможно сформулировать с математической строгостью и что они исходят от людей, являющихся психологическими «отходами» нашей цивилизации. В то же время я слышу голоса своих друзей-философов, настаивающих, что никакая модель человека не может быть основана на данных, полученных от людей, страдающих неврозами и прочими расстройствами непсихотического характера. Я согласен с обоими этими предостережениями.

Но ни психологи в своих лабораториях, ни философы в своих кабинетах не могут игнорировать тот факт, что мы на самом деле получаем чрезвычайно важные и зачастую уникальные данные от людей, проходящих курс терапии, — данные, которые можно получить от человеческого существа только тогда, когда мы отбрасываем свойственные нам притворство, лицемерие и сдержанность, за которыми все мы укрываемся, вращаясь в обществе как «нормальные люди». Только в критической ситуации эмоциональных и духовных страданий — а именно такая ситуация заставляет лю-

дей искать помощи терапевта — они проходят через мучительный процесс открытия корней своих проблем. Любопытно также, что если мы не ориентированы на то, чтобы *помочь* человеку, то он не захочет, а в определенном смысле и не *сможет* сообщить нам что-либо важное. Замечание Гарри Ст. Салливана по поводу исследований в области терапии по-прежнему не утратило своей актуальности: «Если целью беседы не является помощь человеку, то вас кормят баснями, а не сообщают реальные данные»⁶.

Да, классифицировать информацию, которую мы получаем от наших пациентов, можно, пожалуй, лишь очень приблизительно. Но поскольку главным источником этой информации являются самые острые внутренние противоречия человеческого существа и его жизненный опыт, то богатство ее содержания с лихвой компенсирует сложности с ее толкованием. Одно дело — обсуждать гипотезу агрессии как результата разочарования и совсем другое — видеть напряженность пациента, его горящие яростью или ненавистью глаза, оцепенелое тело, слышать его глухие стоны, когда он заново переживает произошедшее много лет назад событие — отец выпорол его за то, что у него украли велосипед, хотя в том не было его вины. Воспоминание об этом происшествии возбуждает в нем ненависть, которая в данный момент направлена на всех отцов во всем его мире, в том числе и на меня, сидящего с ним в этой комнате. Такие данные являются эмпирическими в самом глубоком смысле этого слова.

С пониманием относясь к сомнениям моих коллег насчет построения теории на основе данных, полученных от «неудачников», я, в свою очередь, хотел бы задать им вопрос: *Разве в любом человеческом конфликте не проявляются как универсальные характеристики человека, так и специфические проблемы данного индивида?* Софокл писал не просто о патологии отдельного индивида, когда он, шаг за шагом, провел нас через драму царя Эдипа, мучительную борьбу человека за право узнать, «кто я есть и откуда пришел». Психотерапевт ищет наиболее специфические характеристики и события в жизни данного индивида — и забывая об этом, любая терапия рискует погрязнуть в пресных, лишенных экзистенциального смысла, туманных обобщениях. Но психотерапевт также ищет те элементы человеческого конфликта данного индивида, которые являются базисом постоянных и неизменных качеств, свойственных жизненному опыту любого человека — и если мы забываем об этом, то терапия начинает непомерно сужать рамки сознания пациента и делает его жизнь более банальной в его глазах.

Психотерапия обнажает как непосредственную ситуацию «болезни» индивида, так и архетипические качества и характеристики, которые и делают человеческое существо человеческим. Именно архетипические характеристики подверглись специфической деформации у данного пациента, что оказало воздействие на его индивидуальные качества, создав ему психологические проблемы. Толкование проблем пациента в психотерапии — это отчасти также и выявление тол-

кования человеком самого себя, с архетипическими формами которого мы сталкиваемся в литературе. Если взять два разных примера, то «Орестея» Эсхила и «Фауст» Гете — это не просто портреты двух данных конкретных людей, один из которых жил в Греции в V веке до нашей эры, а другой в Германии XVIII века, это картины борьбы, через которую все мы, вне зависимости от того, к какой расе мы принадлежим, и в каком веке живем, проходим, когда взрослеем, пытаемся определить себя как индивидуальное человеческое существо, стремимся по мере своих сил упрочить наше бытие, пытаемся любить и творить и прилагаем все усилия к тому, чтобы достойно встретить все события нашей жизни, в том числе и нашу смерть. Одно из преимуществ жизни в переходный период — в «век терапии» — заключается в том, что это настойчиво ставит нас перед лицом возможности, даже когда мы просто пытаемся разрешить наши индивидуальные проблемы, обрести новый смысл в человеке вечном и более глубоко постичь те качества, которые делают человеческое существо человеческим.

Наши пациенты — это те люди, которые выражают подсознательные и бессознательные тенденции нашей цивилизации и живут ими. Невротик, или человек страдающий душевным недугом, отличается тем, что обычно применяемые цивилизацией защитные средства в его случае не действуют — болезненная ситуация, в чем он в той или иной мере отдает себе отчет⁷. «Невротик» или «страдающий душевным недугом» человек — это человек, чьи проблемы настолько серьезны, что он не может разрешить их с помощью обычных институтов цивилизации, типа работы, образования, религии. Наш пациент не может — или не хочет — приспособиться к обществу. Это, в свою очередь, может быть вызвано одним или двумя следующими взаимосвязанными моментами. Во-первых, это имевшие место в его жизни определенные травматические или неприятные впечатления, которые сделали его более чувствительным, чем среднестатистический человек, и менее способным справляться со своей тревогой. Во-вторых, такой человек может отличаться большой оригинальностью и большим потенциалом, которые требуют выражения, но будучи заблокированы, делают его больным.

Художник и невротик

Сходство художника и невротика, в котором зачастую усматривается нечто таинственное, вполне понятно, если посмотреть на него с представленной здесь точки зрения. Как художник, так и невротик говорят от имени своего общества, из его подсознательных и бессознательных глубин, *живут* их жизнью. Но художник занимает позитивную позицию, рассказывая о своих ощущениях своим собратьям. Невротик занимает негативную позицию. Но ощущая те же глубоко скрытые смыслы и те же противоречия своей цивилизации, он не способен выразить свои ощущения в образах, понятных ему самому и его собратьям.

Как искусство, так и невроз, обладают *профической* функцией. Поскольку искусство — это информация, исходящая из бессознательного, то оно являет нам образ человека, который пока живет только в тех членах общества, которые, в силу своего обостренного сознания, идут в авангарде общества — то есть одной ногой уже ступили в будущее. Сэр Герберт Рид заявил, что художник предвосхищает научные и интеллектуальные достижения расы⁸. Тростник и ноги ибиса, образующие треугольный узор на древнеегипетских вазах эпохи неолита, были предвестием последующего развития геометрии и математики, с помощью которых египтяне читали по звездам и измеряли Нил. Парфенон, этот образец присущего древним грекам великолепного чувства пропорции, могучие своды романской архитектуры, или средневековые соборы, во всех этих творениях человека Рид прослеживает, как в тот или иной исторический период искусство выражает тенденции, которые пока что скрываются в бессознательном, но со временем будут сформулированы философами, религиозными лидерами, учеными. Искусство предвосхищает будущее социальное и технологическое развитие общества на десятилетия вперед, если речь идет о поверхностных изменениях, и на столетия, если речь идет о событиях, вроде открытия математики, имеющего глубочайший смысл.

Точно так же художник выражает социальный конфликт еще до того, как общество осознает наличие этого конфликта. Художник — эта «антенна расы», как сказал Эзра Паунд — выражает, в жизненных формах, создать которые мог бы только он один, глубины сознания, которые он переживает в опыте своего бытия, когда он творит свой мир по образу своему и пытается покорить его.

Здесь мы сразу же погружаемся в самую гущу вопросов, поднимаемых в этой книге. Ибо мир, представленный в работах современных художников, драматургов и прочих представителей искусства, — это *шизоидный мир*. В изображаемом ими мире любовь и воля сталкиваются с чудовищными преградами. В этом мире, при всех его высокоразвитых и бомбардирующих нас со всех сторон информацией средствах связи, истинное общение между людьми становится все более трудным и редким. Как заметил Ричард Гилман, самыми выдающимися драматургами нашего времени становятся те, кто избирает темой своих пьес именно разобщенность — кто показывает, как Ионеско, Дженет, Беккет и Пинтер, что уделом современного человека стало существование в мире, в котором практически уничтожено общение между людьми. Мы проживаем наши жизни, выговариваясь магнитофону, как в пьесе Беккета «Последняя запись Краппа»; мы становимся все более одинокими по мере того, как в наших домах увеличивается количество радиоприемников, телевизоров и телефонных аппаратов. В пьесе Ионеско «Лысое сопрано» есть сцена, в которой случайно встретившиеся мужчина и женщина ведут вежливую, хотя и несколько манерную, беседу. По ходу беседы они узнают, что оба при-

ехали в Нью-Йорк тем же самым утренним десятичасовым поездом из Нью-Хэвена и, что удивительно, живут в одном и том же доме на Пятой Авеню. Батюшки, да они живут в одной и той же квартире и у каждого из них есть дочь семи лет. Наконец, к своему неопишуемому удивлению они обнаруживают, что являются мужем и женой.

То же самое мы наблюдаем и у художников. Сезанн, признанный родоначальник современного направления в живописи, — человек, который вел такую размеренную и благонамеренную жизнь, какую только может вести представитель французского среднего класса, — рисует шизоидный мир пустых пространств, камней, деревьев и лиц. Он обращается к нам из глубин старого мира механики и заставляет жить в новом мире свободно парящих пространств. «Здесь мы свободны от причин и следствий, — пишет Мерло-Понти о мире Сезанна, — ...причины и следствия смешались в вечном Сезанне, который одновременно является и формулой того, чем он хочет быть, и формулой того, что он хочет делать. Между шизоидным темпераментом Сезанна и его работой существует гармония, потому что в его работе проявляется метафизическое ощущение болезни... В этом смысле быть шизоидом и быть Сезанном — это одно и то же»⁹. Только шизоидный человек может нарисовать шизоидный мир; то есть только человек, достаточно чувствительный для того, чтобы проникнуть в глубинные психические конфликты, может представить наш мир, таким, каков он есть в его более глубоких формах.

Но в самом отображении нашего мира в искусстве таится также и *наша защита* от обезчеловечивающего воздействия на нас техники. Шизоидный характер заключается и в столкновении с обезличивающим человека миром, и в отказе принять это обезличивание как должное. Ибо художник находит более глубокие планы сознания, где мы можем приобщиться непосредственно к опыту другого человека, к самой природе его, минуя обманчивую внешнюю очевидность. Ярким примером является Ван Гог, психоз которого, не в последнюю очередь, был связан с его отчаянным стремлением рисовать свои ощущения. Или же Пикассо, с его, казалось бы взрывной страстью, чье проникновение в шизоидный характер нашего современного мира прослеживается в разорванных на части быках и крестьянах «Герники» или в портретах со смещенными глазами и ушами — картинах, у которых не было названий, а лишь номера. Нет ничего удивительного в замечании Роберта Мазервелла, что наш век — это первый век, когда художники так же разобщены, как и все остальные; каждый из них должен полагаться только на самого себя.

Художник представляет расколотый образ человека, но в самом акте превращения его в произведение искусства поднимается над ним. Этот его творческий акт придает смысл нигилизму, отчуждению и всем остальным составляющим состояния современного человека. Снова приведу цитату из Мерло-Понти, в которой идет речь о

шизоидном темпераменте Сезанна: «Итак, болезнь перестает быть абсурдным фактом и роком и становится общей возможностью человеческого существования»¹⁰.

Невротик и художник — поскольку оба они выражают бессознательное расы — указывают нам на болезнь, которая по прошествии определенного времени поразит ту или иную часть общества. Невротик испытывает то же самое смятение, возникающее из его ощущения нигилизма, отчуждения и так далее, но он не способен придать ему смысл; он оказывается между двух огней — между неспособностью превратить свое смятение в произведение искусства и неспособностью пресечь это смятение. Как заметил Отто Ранк, невротик — это «*artiste manqué*»*, художник, который не может трансформировать раздирающие его противоречия в искусство.

Если мы примем это как реальность, то тем самым не только обретем свободу творчества, но и заложим основы нашей человеческой свободы. Точно так же, если мы с самого начала признаем шизоидное состояние нашего мира, это может помочь нам найти любовь и волю в нашем веке.

Невротик как пророк

Наши пациенты предвещают развитие цивилизации, *осознанно* переживая то, что общая масса людей до поры до времени держит в своем *бессознательном*. Судьба предназначила невротика роль Кассандры. Тщетно оплакивает Кассандра свою судьбу «ласточки-вещуни», сидя на ступенях дворца в Микенах, куда привез ее Агаммемнон из Трои¹¹. Она знает, что родилась под несчастливой звездой, что ее удел — «струящаяся печальной песней боль»¹² и что она обречена предсказывать беды и несчастья. Жители Микен считают ее безумной, но верят, что она говорит правду и что она обладает особой способностью предвидеть события. В наше время человек, раздираемый психологическими страстями, несет в себе бремя сотрясающих его эпоху конфликтов и обречен самими своими действиями предсказывать явления, которые впоследствии захлестнут все общество.

Первым и наиболее убедительным доказательством этого тезиса являются сексуальные проблемы, которые Фрейд обнаружил задолго до Первой мировой войны у своих пациентов, большая часть жизни которых пришлась на эпоху королевы Виктории. В те времена в приличном обществе не допускалось не только никаких разговоров на тему секса, но и малейшего намека на них¹³. Но со временем, уже после Второй мировой войны в отдельных странах эти проблемы вырвались на поверхность в очень острой форме. Еще в двадцатых

* Несостоявшийся художник (фр.).

годах все словно помешались на сексе и его функциях. Даже человек с самым развитым воображением не может сказать, что «причиной» этого был Фрейд. Просто он, опираясь на полученную от пациентов информацию, изучил и истолковал глубинные социальные конфликты, которые «нормальные» члены общества могли до поры до времени подавлять и действительно подавляли. Невротические проблемы — это язык, на котором бессознательное обращается к сознанию общества.

Вторым, правда, не столь ярким примером, является рост агрессивности, отмеченный у пациентов в начале тридцатых годов. Среди прочих на это обратила внимание еще Хорни, а как сознательный феномен это проявилось в нашем обществе десять лет спустя.

Третим значительным примером можно считать проблему тревоги. В конце тридцатых — начале сороковых годов некоторые терапевты, в том числе и я, были поражены тем фактом, что у многих из наших пациентов состояние тревоги проявлялось *не просто как симптом патологии или подавленности, но как общее свойство характера*. Я, Хобарт Моуэр и другие исследователи начали изучать состояние тревоги в самом начале сороковых годов. В те годы в нашей стране это состояние считалось не более чем симптомом патологии¹⁴. Я помню, как в конце сороковых годов в своих докладах я отстаивал концепцию *нормальной* тревоги, и как мои профессора выслушивали меня в уважительном молчании, но при этом сильно хмурились.

Поэт Оден, как и всякий поэт, способный к пророчествам, в 1947 г опубликовал свою поэму «*Век тревоги*» и Бернстайн сразу же написал симфонию на эту тему. В том же 1947 г. Камю писал о «веке страха», а Кафка уже рисовал в своих романах яркие картины грядущего тревожного века¹⁵.

Формулировки научного истеблишмента, как и положено, не поспевали за тем, что нам пытались сказать наши пациенты. Так, в 1949 г. на ежегодном семинаре Американской ассоциации психопатологов по теме «тревога», концепции «нормальной тревоги», изложенной в моем докладе, было по-прежнему отказано в праве на существование стараниями большинства присутствовавших там психиатров и психологов.

Но уже в пятидесятые годы радикальный сдвиг в умах массы людей стал очевиден; теперь все заговорили об этом и конференции по этой теме стали проводить повсеместно. Концепция «нормальной» тревоги постепенно прижилась в психиатрической литературе. Все люди, как нормальные, так и невротики, осознали, что живут в «тревожное время». То, что в конце тридцатых — начале сороковых годов проявилось в произведениях искусства и в настроениях наших пациентов, теперь вырвалось наружу в разных странах.

Наш четвертый пример относится уже к современности — это проблема идентичности. На первых порах, в конце сороковых — начале пятидесятых годов, эта проблема заботила лишь терапевтов

с их пациентами. Она была описана, на основе полученных в ходе психологических исследований данных, в книге Эриксона *Childhood and Society* (1950), в моей книге *Man's Search for Himself* (1953), книге Аллена Вилса *The Quest for Identity* (1958) и в книгах других толкователей психотерапии и психоанализа. В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов проблема идентификации была на устах у каждого думающего человека; она стала постоянной темой карикатур в «Нью-Йоркере»; десятки книг, написанных на эту тему, стали бестселлерами в своей области. Культурные ценности, благодаря которым люди в прежние времена обретали свое чувство самобытности, были отброшены¹⁶. Наши пациенты знали об этом еще до *того*, как об этом узнало общество, и у них не было никакой защиты от опасных и болезненных последствий этого явления.

Разумеется, острота подобных проблем отчасти зависит от веяний моды. Но полностью списать на моду историческую динамику возникновения психологических проблем и социальных изменений было бы верхом несправедливости. Ван ден Берг в своей, безусловно, спорной и рассчитанной на скандал книге вообще утверждает, что *все* психологические проблемы являются продуктом социоисторических перемен в обществе. Он полагает, что не существует никакой «человеческой природы», а есть только изменчивая натура человека, зависящая от изменений в обществе, и мы должны называть проблемы наших пациентов не «неврозом», а «социоизом»¹⁷. Не обязательно соглашаться с Ван ден Бергом: я, например, полагаю, что психологические проблемы являются порождением диалектического взаимодействия трех факторов: биологического, индивидуального и историко-социального. Как бы то ни было, Берг без обиняков заявил о том, каким страшным и разрушительным упрощением является убеждение, что психологические проблемы возникают, «как гром среди ясного неба», просто потому, что общество осознало их существование, или же потому, что мы придумали им названия. Мы действительно *придумываем* новые слова, поскольку нечто очень важное происходит на бессознательном, невыразимом словами уровне, и это нечто жаждет выражения; наша задача и состоит в том, чтобы приложить все усилия к пониманию и выражению этих поворотов в ходе нашего развития.

Пациентами Фрейда были, в основном, истерики, которые, по сути, несли в себе подавляемую энергию, которая могла быть высвобождена при обращении терапевта к бессознательному. Однако сегодня, когда практически все наши пациенты оказываются компульсивно-обсессивными невротиками (или имеют личностные расстройства, представляющие собой более общую и менее острую форму того же недуга), мы обнаруживаем, что главным препятствием для терапевта является неспособность пациента чувствовать. Наши пациенты — это люди, которые могут до второго пришествия разговаривать о своих проблемах и, как правило, являются людьми умственного

труда; но они неспособны на подлинные чувства. Вильгельм Райх называл таких людей «живыми машинами», а Дэвид Шапиро ссылается на это в своей книге, говоря об «умеренном и ровном образе жизни и образе мышления» людей такого плана. В понимании проблем пациентов XX века Райх явно опередил свое время¹⁸.

Возникновение апатии

Выше я процитировал утверждение Лесли Фарбера, что наш исторический период следует называть «эпохой слабоволия». Но что тому причиной?

Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Я полагаю, что в основе слабоволия лежит притупление чувств, приводящая в отчаяние догадка, что, возможно, ничто в этом мире не имеет значения, состояние очень близкое к апатии. Памела Х. Джонсон, написав статью об убийствах на болотах Англии, обнаружила, что не может отделаться от чувства, что «мы, возможно, приближаемся к состоянию, которое психологи называют полным равнодушием»¹⁹. Если доминирующим настроением наших дней является апатия или полное равнодушие, то мы можем понять на более глубоком уровне, почему же любовь и воля столь трудно даются сегодня.

Явления, которые мы, к своему замешательству, обнаружили у наших пациентов в пятидесятые годы, были предвестием того, что по прошествии нескольких лет стало серьезной проблемой всего общества. Я хотел бы привести несколько цитат из своей книги «Человек в поисках себя», написанной в 1952 г. и опубликованной годом позже:

«Это может показаться странным, но я хочу сказать, на основании своей клинической практики, а также практики моих коллег по психологии и психиатрии, что главной проблемой людей, живущих в середине двадцатого века, является *пустота*»²⁰.

«Хотя сегодня может показаться смешной бессмысленная скука, которую испытывали люди десять или двадцать лет тому назад, но в наши дни для многих людей пустота из скуки превратилась в бессилие и отчаяние, что само по себе очень опасно».

«... Человеческое существо не может в течение долгого времени жить в состоянии пустоты; если человек не движется в определенном направлении, то это не значит, что он просто пребывает в состоянии стагнации; накапливаясь, нереализованные возможности выливаются в патологию, отчаяние и, в конце концов, в разрушительные действия».

«*Ощущение* пустоты или вакуума... как правило, порождается чувством, что ты *бессмыслен* что-либо изменить в своей жизни или в окружающем мире. Внутренний вакуум — это конечный результат

постепенно растущего убеждения человека в том, что он, как личность, не может руководить своей жизнью... не может изменить отношение к нему других людей или хоть как-то повлиять на окружающий мир. В итоге он погружается в глубокое отчаяние, характерное для столь многих наших современников. И коль скоро его желания и чувства не имеют никакого значения, то он отказывается от желаний и чувств».

«... Кроме того, апатия или равнодушие являются защитными средствами от чувства тревоги. Когда человек постоянно глядит в лицо опасности, справиться с которой ему не под силу, то его последней линией обороны становится стремление, по крайней мере, перестать испытывать само ощущение опасности».

Эта проблема вырвалась наружу только в середине шестидесятых годов в нескольких происшествиях из разряда несчастных случаев, которые потрясли сами основы нашего общества. Наша «пустота» переросла в отчаяние и жажду разрушения, в насилие и жажду убийства; сейчас уже никто не станет отрицать, что эти явления идут рука об руку с апатией. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала в марте 1964 г.: «В течение более чем получаса 38 уважаемых, законопослушных жителей района Куинс наблюдали, как убийца, нападая на женщину в Ки Гарденс, трижды нанес ей удары ножом»²⁵, в апреле того же года, «Таймс» в проникнутой возмущением передовице рассказала о другом инциденте, когда толпа подстрекала стоявшего на карнизе отеля психически неуравновешенного юношу прыгнуть вниз, называя его «трусом» и «слабаком». «Чем же отличаются эти люди от римлян, с горящими глазами бесновавшихся при виде того, как люди и звери рвут друг друга на части на арене Колизея?... Не говорит ли это поведение толпы в Олбани об образе жизни множества американцев?... Если это так, то колокол звонит по каждому из нас»²⁶. В мае того же года, одна из статей в «Таймс» начиналась словами: «Крики жертвы изнасилования привлекли внимание сорока человек, но никто ничего не сделал»²⁷. Поисшедшие в последующие несколько месяцев многочисленные события такого же рода вывели нас из состояния апатии на достаточно длительный период времени, чтобы мы поняли, насколько мы стали апатичными, насколько современная городская жизнь развила в нас привычку к невмешательству и равнодушию.

Я понимаю, что значение отдельных событий легко преувеличить, и у меня нет желания слишком сильно настаивать на своей правоте. Тем не менее, я действительно убежден, что в нашем обществе наблюдается явное движение к состоянию полного равнодушия как жизненной установке, или свойству характера. Полное моральное разложение, о котором интеллектуалы рассуждали несколько десятилетий тому назад, теперь становится ужасной реальностью улиц наших городов и подъездов наших домов.

Как же нам назвать это состояние, о котором говорит столько наших современников — отчуждение, невозмутимость, отстраненность, полное равнодушие, безразличие, моральное разложение, обезличивание? Каждый из этих терминов обозначает часть того состояния, о котором я говорю, — состояния, при котором мужчины и женщины дистанцируются друг от друга и от объектов, которые когда-то вызывали у них сильные эмоции и желание действовать²⁸. Вопрос об источнике этого явления я хочу на время оставить открытым. Я использую термин «апатия», несмотря на его изначальную узость, потому что в своем буквальном значении он больше всего соответствует описываемому мною состоянию — «отсутствие чувств, страстей, эмоций или волнения, безразличие». Апатия и шизоидный мир идут рука об руку, как причина и следствие друг друга. Апатия имеет особо важное значение, поскольку она тесно связана с любовью и волей. Прямой противоположностью любви является совсем не ненависть, а апатия. Прямой противоположностью воли является совсем не нерешительность — которая, собственно, может представлять собой *усилie*, вступившее в борьбу за решение, согласно Уильяму Джемсу, — а отстраненность, безучастность, нежелание принять участие в важных событиях. В этом случае вопрос о воле вообще никогда не будет стоять на повестке дня. Взаимосвязь любви и воли зиждется на том факте, что оба эти термина обозначают выход человека во внешний мир, его стремление к новым горизонтам, желание оказать воздействие на другого человека и на неодушевленный мир, и, вместе с тем, его готовность самому стать объектом воздействия; человек приспособливается к миру или требует, чтобы мир приспособился к нему. Вот почему столь большие трудности с любовью и волей возникают именно в «эпоху перемен», когда стерты все привычные ориентиры. Блокирование каналов, по которым мы оказываем воздействие на других людей и по которым они оказывают воздействие на нас, представляет собой страшный разлад, приводящий в смятение и любовь и волю. Апатия — это уход чувств; она может начинаться со стремления к невозмутимости, с отработанной привычки к беззаботности и отстраненности. «Я не хотел оказаться в это замешанным», — так ответили все тридцать восемь жителей Ки Гарденс, когда их спросили, почему они ничего не предприняли. Апатия, действующая подобно фрейдовскому «инстинкту смерти», — это постепенный отказ от участия в чем-либо, пока человек не обнаруживает однажды, что жизнь полностью прошла мимо него.

Глядя на общество свежим взглядом, какой-нибудь студент, зачастую, понимает его лучше, чем представитель старшего поколения — хотя дети склонны воспринимать все весьма упрощенно и винить во всем институты общества. «Мы совершенно не чувствуем, чтобы здесь шла какая-то интересная в интеллектуальном плане жизнь», — сказал редактор колумбийского «Спектейтора»²⁹. Студент — обозреватель газеты «Мичиган Дэйли» — писал: «К своему позору, это учреждение не

сумело привить учащимся даже начального интереса к работе ума». Он говорил о сползании «к чему-то похуже посредственности — то есть к абсолютному безразличию. Возможно, даже безразличию к самой жизни»³⁰. «Мы все стали отдельными отверстиями на перфокарте Ай Би-Эм», — заметил один студент из Беркли. «В 1964 г. мы решили сами проделать кое в чем отверстия и устроили беспорядки, но *настоящая* революция здесь произойдет только тогда, когда мы решимся сжечь не только призывные повестки, но и компьютерные перфокарты»³¹.

Между апатией и насилием существует диалектическая связь. Апатичный образ жизни провоцирует насилие; а в тех случаях, о которых шла речь выше, насилие способствует распространению апатии. Насилие — это абсолютно разрушительный суррогат, который моментально заполняет созданный равнодушием вакуум³². Существуют разные степени насилия, от относительно нормального шокового эффекта, который вызывают у нас многие формы современного искусства, порнография и непристойности, — достигающие своей цели посредством насилия над нашим образом жизни, — до крайней патологии в форме политических убийств и убийств на болотах. Когда внутренняя жизнь превращается в пустыню, когда слабеют чувства и набирает силу апатия, когда человек не может воздействовать на другого человека или по-настоящему задеть его за живое, тогда вспыхивает насилие, — как демоническая потребность в контакте, бешеная сила, рвущаяся к этому контакту самым прямым путем из всех возможных³³. Это один из аспектов хорошо известной связи между сексуальными чувствами и насильственными преступлениями. Причинение боли и страданий другому человеку доказывает по крайней мере то, что на него все-таки можно оказать воздействие. В разобщенном обществе, где правят средства массовой информации, средний гражданин знает в лицо десятки телеведущих, которые каждый вечер улыбаясь входят в его дом — *сам же он так и остается неузнанным*. В этом состоянии отчуждения и анонимности, болезненном для любого человека, у среднего гражданина вполне могут возникать фантазии, балансирующие на краю самой настоящей патологии. «Анонимный» человек мыслит следующим образом: «Если я не могу вызвать в ком-нибудь чувство, или кого-то задеть за живое, то я, по крайней мере, могу заставить вас испытать какие-то сильные ощущения, причинив вам боль, я, по крайней мере, удостоверюсь, что мы оба что-то чувствуем, и я заставлю вас заметить мое присутствие!» Многие дети и подростки заставляют грушу заметить свое существование посредством деструктивного поведения, и хотя такого человека осуждают, общество, по крайней мере, обращает на него внимание. Ощущение, что тебя активно ненавидят, доставляет почти такое же удовольствие, как и ощущение, что тебя активно любят; оно ликвидирует совершенно невыносимую ситуацию анонимности и одиночества.

Но приняв к сведению пагубные последствия апатии, мы должны теперь обратиться к факту ее необходимости, а также к тому, как, в

своей «нормально-шизоидной» форме, она может быть превращена в конструктивную функцию. Трагический парадокс заключается в том, что в наше время мы вынуждены использовать апатию, как средство защиты. Гарри Ст. Салливан замечает: «Апатия — любопытное состояние; это способ пережить поражение, не понеся материального ущерба, хотя если она длится слишком долго, то вред причиняет уже само это состояние. Мне апатия представляется чудесным средством защиты, с помощью которого потерпевшая сокрушительное поражение личность обретает покой и пребывает в нем до тех пор, пока не сможет заняться чем-нибудь еще»³⁴. Чем дольше не представляется такая возможность, тем дольше держится апатия; и рано или поздно она становится состоянием души. Эта бесчувственность выражается в боязни порывов неустрашимых потребностей, ледяном спокойствии по отношению к суперстимулам, нежелании броситься в бурный поток жизни из боязни не справиться с ним. У любого, кто хоть раз побывал в метро в час пик, с его какофонией шумов и безликими толпами человеческих существ, вышесказанное не может вызвать никакого удивления.

Нетрудно себе представить, каким образом живущие в шизоидном мире люди должны защищаться от ужасного сверхстимулирования — от хлещущего из радио- и телеприемников потока слов и шумов, от конвейерных потребностей коллективизированной промышленности и гигантских, напоминающих фабрики, университетов с невероятным количеством факультетов, курсов и т. п. В мире, в котором числа неумолимо превращаются в наше средство идентификации, грозя, подобно лаве, удушить и испепелить все живое на своем пути; в мире, в котором слово «нормальность» обозначает умение не волноваться; в мире, в котором секс стал настолько доступен, что сохранить хоть какой-то внутренний центр можно только одним способом — научиться бесстрастно совершать половой акт — в этом шизоидном мире, который молодые люди ощущают более непосредственно, поскольку у них не было времени возвести линию обороны, притупившую чувства старшего поколения, нет ничего удивительного в том факте, что проявления любви и воли становятся все более проблематичными и даже, как полагают некоторые люди, вообще невозможными.

Однако какую пользу можно извлечь из этой шизоидной ситуации? Мы уже знаем, как Сезанн мог превращать свой шизоидный раскол личности в способ выражения наиболее важных форм современной жизни и тем самым смог устоять перед отупляющими тенденциями общества, благодаря своему искусству. Мы уже поняли, что эта шизоидная позиция является необходимостью; теперь мы попытаемся понять, каким образом можно использовать к своей выгоде ее здоровые аспекты. Конструктивная шизоидная личность сопротивляется духовной пустоте надвигающейся технологии и не позволяет ей опустошить себя. Она живет и работает с машинами, сама машиной не становясь. Она считает необходимым оставаться

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.